

Ирина Муравьева

# Полина Прекрасная



*Часть сборника  
Полина Прекрасная (сборник)*



Ирина Муравьева  
**Полина Прекрасная**

«ЭКСМО»

2013

**Муравьева И. Л.**

Полина Прекрасная / И. Л. Муравьева — «Эксмо», 2013

ISBN 978-5-699-62608-3

Полина ничего не делала, чтобы быть красивой, – ее великолепие было дано ей природой. Ни отрок, ни муж, ни старец не могли пройти мимо прекрасной девушки. Соблазненная учителем сольфеджио, Попелька (так звали ее родители) вскоре стала Музой писателя. Потом художника. Затем талантливого скрипача. В ее движении – из рук в руки – скрывался поиск. Поиск того абсолюта, который делает любовь – взаимной, счастье – полным, красоту – вечной, сродни «Песни Песней» царя Соломона.

ISBN 978-5-699-62608-3

© Муравьева И. Л., 2013

© Эксмо, 2013

## Ирина Муравьева Полина Прекрасная

На прошлой неделе Полине стукнуло восемнадцать. Она была пышной, взволнованной, нежной. Мужчины: то отроки, то пожилые, с глазами навывкате, лысые, толстые, с глазами, прищуренными от вожделенья, с щеками румянными, бледными, впалыми, с высокими лбами и низкими лбами, с открытыми шеями и в пиджаках – короче, любые живые мужчины Полине почти не давали проходу. Они бросались к ней со своими глупыми разговорами и рты раскрывали, как будто хотели ее проглотить. Всю сразу: с зонтом и ботинками. И не оттого, что она была как-то особенно хороша, а оттого, что никого из этих мужчин Полина не собиралась на себе женить. Она никого не ловила. Странная эта, неженская черта так сильно отличала Полину от остальных представительниц прекрасного пола, что у мужчин раздувались ноздри. Раздувши же ноздри, они становились похожи на зверя, живущего в чаще, простого и честного. Ведь зверю не нужен букет или галстук, ему нужна просто любовь, о которой он детям своим – медвежатам и зайцам – расскажет в берлоге, когда низко, страшно гудит и рыдает метель за порогом, и если бы зверь этот – волк или заяц – не зверем бы был, а учителем пенья, то он бы сравнил голос зимней метели с каким-нибудь виолончельным концертом.

Принято думать, что мужчины хотят как можно скорее украсить свой безвольный безымянный палец обручальным кольцом. Неправда, вранье, клевета. Готовность жениться навязана мужчине женщиной, и если уж говорить откровенно, то на лице у всякой женщины такой есть почти незаметный крючочек или такая вот скромная серая петелька, которую даже в хороший бинокль не сразу увидишь. Петелька эта или, если хотите, крючочек располагается, как правило, в районе переносицы, но изредка прячется под подбородком, и человек, привлеченный к женщине глазами ее или тонкою талией, сперва замечает неброский дефект, но вскоре устает его замечать, а дальше известно, как это бывает: нарядного, словно артиста эстрады, в лаковых башмаках и белом пиджаке человека, терпко пахнувшего потом от волнения, сажают в большой лимузин и катают по городу. А он обнимает невесту за талию. Потом пьют шампанское. Но говорят, что в самый последний момент, когда уже желтые кольца надеты и все поцелуи наляпаны жирно, – тогда, говорят, прозревает жених и страшной тоскою так весь проникается, что даже и самый дешевый фотограф тоску эту передает на портрете. Стоит жених в новом и желтом кольце, хохочет, как клоун, но взгляд! Ох, и взгляд! У Гамлета был веселей перед смертью.

Полина сражала своим бескорытием. И облик ее, такой круглый и пышный, глаза ее ясные, нежные руки, которые даже зимой, сквозь одежду, и то прожигали насквозь, – все было беспечным, уютным и чистым. Красилась она только слегка, а одежду придумывала сама, украшая нехитрое какое-нибудь платьице то платочком, наброшенным на круглые плечики, то ниточкой бус, а то даже платочком и бусами и добавляла еще ко всему много разных колечек. Любила, когда все нарядно и пахнет каким-нибудь кремом. Клубничным, к примеру.

Кроме нарядной одежды, она любила всякую погоду и во всякую погоду чувствовала себя хорошо. Любила и лето, и осень, и зиму. Весну же любила особенно сильно и, когда начинали сжигать по дворам прошлогодние листья, а от земли поднимались первые, самые сильные запахи и взволнованно, жадно и нежно, на все голоса, пели птицы, что больше не будет ни смерти, ни слез, ни страданий, Полина сама расцветала, как роза. Подруги ее рисовали на лицах большие глаза, зачерняли носы (на кончиках, чтобы казались поменьше!), а волосы, жидкие, блеклых цветов, держали всю ночь в бигуди, так и спали, но очень страдали, и снились им часто какие-то реки, в которые эти подруги входили, и их уносило холодным теченьем. Полина была далека от печали. Заплетала на ночь кудрявую свою косу, перевязывала ее ленточкой, мазала руки кремом «Детский» или «Юбилейный» и только касалась затылком подушки, как сразу

вплывала в чудесную заводь, как утка, а может быть, лебедь невинный, и там, в этой заводь, было тепло, а если мелькали какие-то лица, то все эти лица ее веселили.

Как раз весной, перед самыми выпускными экзаменами, Олег Мухтарович Назаров, преподаватель сольфеджио, человек грузный, с серебряными висками, хотя молодой, еще до сорока, отец трех кудрявых малышей, которых жена его, тоже красивая, но слишком всегда маслянисто покрашенная, приводила зачем-то к ним в школу, – как раз весной Олег Мухтарович сообщил Полине, что ей необходимо позаниматься с ним сольфеджио дополнительно. И время назначил: 3:40, в четверг.

Полине нравился Олег Мухтарович ровно настолько, насколько ей нравились все остальные. Одно за всю жизнь исключение было: Лариса, соседка развратная с дачи. Ларисе тогда уже было пятнадцать, когда шестиклассница, наша Полина, ее заперла прямо в дачной уборной. Есть очень старинный дачный обычай: уборные строить подальше от дома. И пусть там стоят, никому не мешают.

Лариса, развратница, и просидела в уборной четыре часа, и никто – представьте себе: ни один человек! – не слышал Ларисиних горьких рыданий. Поскольку простой, незатейливый дачник отнюдь не стремится в какую-то будку. Зачем? Когда рядом и лес, и поляны, и кущи, и рощи, короче, приюты для уединенья. Зачем ему будка? Однако под вечер обитатели дач услышали крики, сбежались, несчастную освободили, и тут появилась Полина с букетом:

– Она меня мучает. Я уже знаю, что делают мама и папа в кровати! Зачем же мне столько ненужных подробностей?

Ларису она не любила. Но прочие люди на свете ей нравились. И поэтому, заканчивая десятый класс, она нисколько не подозревала Олега Мухтаровича в каких-то там мыслях. Он был педагог и учитель. Малышки, дочурки его, украшали собою весь пахнувший хлоркой, большой вестибюль. Поодаль, на стуле, сидела жена, атласные, черные хмурила брови. И вся эта гадость, какую Лариса успела поведать на даче ей в детстве, за что и пришлось запереть безобразницу, – вся гадость касалась семьи лишь Ларисы, хотя ее толстеньких маму и папу представить себе без одежды было почти невозможно, а главное, незачем.

Теперь Полина заканчивала школу и, хотя другие девушки в ее годы знали о любви все на свете, а многие даже собирались замуж сразу же после выпускного бала, она была так же невинна, как раньше.

Между тем Олег Мухтарович потихоньку сходил с ума. Он сходил с ума, потому что думал о ней постоянно. Он представлял себе ее светлые волосы с ярким золотым отливом, ее сияющие глаза, ямочки на щеках, длинный нос, который в старости должен был изуродовать ее, а сейчас делал это лицо особенно наивным и простодушным. Насколько удачна была длина носа, что если бы общая мать всех – природа – сглупила и укоротила его, то внешность Полины бы вмиг потеряла частицу своей исключительной прелести. О теле ее Олег Мухтарович старался не думать. Как только он представлял себе, какая белизна, мягкость, медовость пряталась под неуклюжим школьным платьем, ему хотелось выть от отчаяния. Он родом был, кстати, кавказец, и прадед его долго дрался с Шамилем. А может быть, наоборот, за Шамиля, но важно не это. Безумие важно, мужское безумье. В конце концов он пригласил ее, чтобы решить все проблемы с сольфеджио. Ибо с сольфеджио этим и были проблемы. Потом можно будет вернуться в семью, заняться, в конце концов, дочками: Майкой, Аглайкой и младшей – капризной, болезненной Софочкой.

Полина постучала в дверь и сразу же вошла, не дождавшись ответа. Она, как всегда, немного опоздала, торопилась, и потому румянец у нее на щеках был особенно розовым, а волосы на лбу влажными. Олег Мухтарович проглотил тугой ком и голосом, низким и нервным, сказал ей:

– Садитесь.

Полина тотчас же уселась на стуле, сияя глазами. И руки сложила. Они до отчаянья напоминали каких-то пушистых и белых птенцов.

– Могли бы прекрасно стать пианисткой. Могли бы. И этим украсить всю школу. Однако... Вы не пожелали. И вот результат...

Полина вздохнула от чистого сердца. Олег Мухтарович встал со своего кресла, близко подошел к ней и остановился.

– Не поздно еще, говорю вам: не поздно, – сказал он, и грубый отважный кавказец проснулся внутри его мощного тела. – У вас еще все впереди. Вот рояль. Садитесь к роялю.

В кабинете у Олега Мухтаровича стоял рояль.

– Спасибо. Конечно, – сказала Полина.

Теперь они оба стояли, и лица их были так недалеко друг от друга, что запах хорошего свежего кофе струился от скользких усов педагога в наивные детские ноздри Полины. Он вскрикнул гортанно, как если бы что-то застряло вдруг в горле, и сразу же сильно за талию обнял, словно игрушку. Полина отпрянула в страхе.

Даже если бы сам Шамиль или какой-то другой видный военачальник ворвался в эту минуту в кабинет Олега Мухтаровича Назарова и, наставив на него дуло пистолета, велел отпустить эту русую девушку, багровый и взмокший настолько, что майка, рубашка, трусы и носки нуждались в хорошей и долгой просушке, учитель вояке бы не подчинился. В пронзительной тьме золотилось пятно, которое было лицом ученицы, – он чувствовал, как оно только мешает ему своим этим сияньем, – а руки уже разрывали на ней черный фартук, и губы впивались в горячее тело. Оно было нежным и сладким настолько, настолько ничуть не похожим на прочие, что он все равно (не будь он отважным кавказцем, а просто хорошим, простым человеком!) не дал бы себя оторвать от этой пришедшей к нему в кабинет старшеклассницы.

– Мне больно, – стонала Полина. – Пустите!

– Женюсь! – бормотал он. – Женюсь завтра утром! Даю тебе слово!

Она задохнулась, и вдруг ее пальцы запутались в шерсти, так, словно учитель был не человеком, а мокрой овчиной. Когда же она оказалась на липком, нагретом полу, то все сразу исчезло. Была только боль и такой острой силы, что, кроме нее, ничего не осталось. Она укусила себя за запястье, боясь, что кричит, но она не кричала. Какое-то время прошло. Но какое? Из тела ее, как из глины, весь красный, трясущийся весь, поднимался Назаров. Лицо его было в разводах и ссадинах.

Полина осталась лежать. Он же, жалкий, упал прямо в кресло и замер в тревоге. Он видел себя в кандалах, за решеткой, сквозь прутья которой сквозили то Майка с Аглайкой и Софочкой, младшей, то Нюся, жена, то какие-то люди, которые вынесли свой приговор, и жить ему месяц осталось, не дольше.

– Вставайте, – сказал он, трясась. – Что лежать-то?

Полина с трудом поднялась и прикрыла свою обнаженную грудь рваным фартуком. Назаров вдруг встал на колени.

– Полина! – он вскрикнул мучительно. – Ведь расстреляют! Клянусь вам Аллахом! Как только вы скажете им, что я сделал...

– Кому я скажу? – прошептала Полина.

– Кому? Я не знаю, кому! Прокурору.

– Да я никому не скажу. Ни за что, – сказала она.

Он понял, что это все так вот и будет: не скажет она никому, ни за что. И прежняя властьность зажглась в его взоре.

– Не скажете? Вот хорошо! Я уж думал... Любовь, это... знаете... Землетрясение... – забормотал Олег Мухтарович и вдруг суетливо подбежал к шкафу, вытащил оттуда большой женский шарф и ловко набросил на плечи Полины. – Сейчас никого в школе нет. Хотите такси? Я вызову мигом, и вас довезут...

– Не нужно, – сказала Полина и вышла.

В уборной на первом этаже стояла девушка из параллельного класса, Леля Мартынова, дочка одного из многочисленных наших космонавтов, которых, как птиц, выпускают в небо, и их там становится больше и больше.

Странный облик вошедшей Полины приковал ее внимание.

– Ты что? Как сама не своя? – спросила участливо Леля Мартынова.

– Я? Нет. Я в порядке, – сказала Полина.

– Какой же порядок? Ты вся в синяках, – заметила Леля.

Быстрая, как молния, догадка осветила ее заурядное лицо.

– Ты с парнем своим? Упротил? Ты дала? Они ведь такие: не дашь, так и все. Уж лучше давать, а то просто как звери...

– Какой еще парень? – вздохнула Полина.

– А как же синяк? И нога вон в крови!

– Послушай: оставь! Что тебе? Ну, зачем? – отмахнулась Полина.

И Леля ушла. Как только за нею захлопнулась дверь, Полина на полную мощность открыла тугой медный кран и припала к холодной струе, как собаки в жару, к воде припадая, лакают ее, пока не напьются до изнеможенья.

Эта драматическая история имела два результата: Полина оставила занятия музыкой, ноты сложила в стопочку, перевязала их веревкой и вынесла на помойку, а сам инструмент, очень чуткий и нежный, завесила тюлем, и стало похоже, как будто в квартире стоит колыбель. Второй результат был еще даже горше. Поступив на филологический факультет Московского государственного университета, Полина мечтала сама полюбить, мечтала и чтобы ее полюбили, и липли к ней с разных сторон, к первокурснице, поскольку вокруг было много студентов, и всем им хотелось того же, что ей, но не было чувства, а был только страх. Как только ее обнимали, пытаясь просунуть ладони куда-то пониже, она погружалась в столбняк. Разлетались кровавые брызги в глазах, и хотелось рыдать во весь голос. Вот именно так: рыдать во весь голос, до хрипа, до рвоты.

*Чем знаменит Московский университет? А тем, что там много приличных людей. Посмотришь с холодным вниманьем вокруг: ну, каждый четвертый, а может, и третий. На филологическом факультете, где теперь училась наша Полина, приличных людей было много, не спорю. Но юношей мало. Внизу, на истфаке, вообще караул: три юноши, но никуда не годятся. Два слишком кудрявых, а третий – женат. Спасаясь от монастырского своего одиночества, студентки филфака, а также истфака искали любви на чужой стороне. Чужой стороною в ту пору служило высотное здание на Ленгорах. И в нем, как икринки, которые станут со временем рыбами, зрели, мужали студенты мехмата. На горе другим и себе не на радость они ощущали внутри гениальность. Опасная вещь: гениальность, ненужная. Возьмите – кого? Да хоть Маркса, хоть Пруста, Бетховена с Гоголем, Ленина с Кафкою, возьмите Ефремова и Солженицына, из женщин возьмите... Нет, женщин не нужно. Не нужно их брать, они только запутают. Так вот, говорю я: возьмите вы гениев и загляните в их бедные души. Ой, страшно. Ой, не подходи! Ну, вот так-то.*

*Объятия и поцелуи в подъездах, а также на скользких, холодных скамейках случались теперь в жизни нашей Полины с отзывчивой помощью этих студентов. Но их гениальность была им дороже всего остального. Любовь – хороша, а наука – дороже. Едва только бедная наша Полина, уже обнажившаяся постепенно, смущенно вставала с кровати и, плача, шептала, что, кажется, нынче **нельзя**, ученые юноши вмиг одевались, очки нацепляли и живо бежали обратно, к тоскливым своим теоремам. Спасибо, что предупредила. Ура.*

(Проклятый Назаров, сгубивший ей жизнь, позабыл тот вечер, весенний и душный, когда он вернулся домой, перепуганный, включил телевизор, а там малышкой учили, как из ярко-желтой бумаги легко можно вырезать звезды с луною, и он умилился на дочек: забрались, лепеча и смеясь, на колени, и сразу их пушистые волосы зашекетали ему подбородок, и запах детский, молочный и нежный, его успокоил.)

Во время летней сессии в университетскую столовую стали почти каждый день завозить особенное лакомство: желтого цвета пирожные, вылепленные в форме утят. Излишество, скажете? Нет, не излишество, а просто забота о русском народе: могли бы пончик какой-нибудь сделать, и съели бы граждане, не подавились, а тут ведь какие потратили деньги и сколько труда, сколько умной смекалки, пока изваяли вот этих утяток!

Утром в среду сидела одинокая Полина с пучком на затылке в столовой и ела сметану. Сметана была расфасована так: две трети стакана и по половине того же стакана. Сметана всегда была чуть кисловатой, а желтый утенок до ужаса сладким, и вместе они дополняли друг друга. Полина, любившая сладкое, тихо кусала от круглой его, золотистой головки и сразу ее заедала сметаной. При этом смотрела в учебник, поскольку шел май, было много зачетов.

И вдруг к ней подсел кто-то темный и чуждый. Она подняла глаза от учебника и увидела перед собой незнакомого африканского человека с такими яркими белками, как будто это были не человеческие глаза, а два только что очищенных заботливой хозяйкой, еще не остывших куриных яйца. Он ей улыбнулся, и зубы сверкнули.

– О, здравствуй! – сказал африканец. – И как вы живете?

– Нормально, – сказала Полина. – Экзамены.

– Я тоже нормально, – ответил он гордо. – И как ваше имя?

– Полина, – сказала Полина и вся покраснела.

– Мой бабушка имя зовут: Каролина. И это похоже на вас.

Полина представила ясно далекую бабушку и вся покраснела до слез почему-то.

– Ты хочешь гулять? – спросил он.

– Но я занята сейчас, я занимаюсь, – сказала Полина, – а вас как зовут?

– Я Луис, – сказал он, – и папа мой Луис. И значит: я Луис Луисовиш.

Он расхохотался и ей подмигнул. Он был с чувством юмора, это заметно.

– Вы учитесь здесь? В МГУ?

– Здесь учусь. Я раньше учился немного в Сорбонне, потом еще в Гарварде. Очень хочется знать весь ваш язык. Я его уже знаю.

– А где сейчас ваша семья?

– Мой мама и папа давно не женаты. И папа в Париже. Там дочка: Сюзан. А мама живет с моим бабушкой в Кении.

Несмотря на нечастые ошибки, русский язык его был беглым и даже акцент весьма слavnым.

– Пойдемте гулять, – вдруг решила Полина и быстро закрыла учебник.

Сопровождаемые тяжелыми взглядами буфетчицы, давно ставшей бледной от всех озлоблений, скопившихся в сердце ее еще с детства, с ногами, отекавшими от озлоблений, с руками, неловкими тоже от них, они, за спиной оставив утят, вошли в пустой лифт и в нем поцеловались. И не было в этом ни тени порока, а просто готовность продолжить знакомство.

До четырех часов утра Полина и африканский студент Луис гуляли по бесчисленным тропинкам Ленинских гор, где Ленин – случись ему там прогуляться, да в мае, когда все цветет, да с девушкой, вроде чудесной Полины, – забыл бы и думать о красном терроре. Новый невиданный мир раскрылся перед глазами молодой, нигде еще не побывавшей москвички, когда Луис, настоящее имя которого оказалось, кстати, не Луис, а Лумузин, рассказал ей об ослепительных красотах Кении, омываемой водами Индийского океана с одной стороны и яркосиним озером Виктория с другой. Полина дышала прерывисто, страстно, как дышит и та, кто

готовится к смерти, и та, кто, напротив, рождает младенца, дышала, как лань на бегу, как невеста, узнавшая, что ее суженый жив, дышала всей грудью, всем горлом, и Луис от звука дыханья ее содрогался и, чувствуя, что он теряет рассудок, шептал и шептал ей, какие там, в Африке, стада антилоп, и какие фазаны, какая там лава, и рифы, и скалы, а встретишь вдруг в джунглях чужого, скажи: «Приятель! Я вижу, что ты из бакига».

– Что ты: из чего? – удивилась Полина.

Блещущий яркими белками в полутьме скромной московской зелени, где нет олеандров и тропических бабочек, студент Лумузин объяснил ей, что люди из этого племени славятся твердостью. Бакига не знают ни грусти, ни жалости. Вот если случится, что вырастет пузо, когда еще девушка замуж не вышла, ее моментально увозят на остров, и там пусть она помирает без пищи, а также бывает, что сбросят с утеса.

Тут вспыхнула гордость в лице Лумузина: ведь всякий считает народ свой великим. Полина, напротив, покрылась мурашками, представив беспечных студенток филфака, которых бы то увозили на остров, а то бы бросали с высокой скалы.

Примерно в два тридцать измученный Луис привлек к себе еле знакомую девушку и стал целовать ее в пухлые губы. Все гибкое тело его раскалилось, а руки, обвинившие нашу Полину, дрожали от яростной страсти столь сильно, что, слившись в объятьях, студент со студенткой напомнили дерево перед грозой. Вот так и его, озаренное молнией, качает и гнет во все стороны, так же! Настолько разительно было отличие африканского человека Луиса от вежливых соотечественников Полины, стремящихся получить образование в стенах Московского государственного университета, что ни прежнего страха, ни отвращения к физической близости, которую заронил в ее сердце безответственный Олег Мухтарович, не наступило и, вся трепеща, как кенийская птица, влюбленно клюющая спину жирафа, искусанную насекомыми в кровь, – да, вся трепеща, как кенийская птица, Полина легла на помятую траву, и Луис, почти не заметный во мраке, накрыл ее телом.

Светало, когда он ее отпустил. Река была серой. Худой соловей, давясь своей сладкой, сияющей трелью, сглотив червяка, улетел восвояси. Внутри их волос шелестели травинки, и божья коровка, неловко сползая по шее Полины, уже торопилась к заждавшимся детям. Все жило обычною жизнью. Полина, упавшая в траву часа два назад, была одинокой и грустной, а встала она с этой теплой травы столь счастливой, что чуть не смеялась от жадного счастья.

Луис обнял ее за плечи, они спустились с Ленинских гор, метро еще не работало, но какой-то частник, некрасиво опухший от семейных неурядиц, впустил их в машину и быстро довез до подъезда Полины. Она постояла немного, помедлила. Подъезд был уродливым, темно-зеленым, и дверь вся чернела дурными словами.

– Ты мне не звони, – попросила Полина. – Увидимся завтра в столовой.

Мама и папа, с которыми она жила с самого своего рождения, не спали и встретили дочку скандалом. Квартира была небольшой, аккуратной, мама работала бухгалтером в поликлинике, а папа концертмейстером в театре Красной армии. Они были самого среднего возраста, не слишком любили друг друга, поскольку у папы давно была женщина. Мама, хотя обо всем этом знала и злилась, но все-таки папу к ней не отпустила. Сейчас их сближал страх за дочку Полину, и оба, пропитанные валерьянкой, увидели, что дочь их жива и здорова, и тотчас же схватили ее за рукав.

– Как ты! Как могла! – Мама чуть не упала. – Ты кто? Проститутка! Ты знаешь, ты кто?

– Немедленно мне отвечай! – крикнул папа, имеющий дело с высоким искусством. – Немедленно! Я не шучу! Ты с кем шлялась? И где? Где ты шлялась? И с кем? С кем и где?

Полина решила, что скажет всю правду. Она была часто не в меру правдивой.

– Ну, я познакомилась с парнем. Он черный. Вернее: он родом из Кении. Вот. И мы с ним гуляли.

Мама прислонилась к стене и закрыла глаза.

– Тебе, – не открывая глаз, прошептала она, обращаясь к папе, – тебе за грехи твои... Вот, получай...

– Я здесь ни при чем. – Папа скрипнул зубами. – В нормальной семье мать должна объяснить, что можно и что нельзя, а у нас...

– Откуда у нас быть нормальной семье? – И мама открыла глаза. – Ты не знаешь?

– Полина! – У папы раздулось лицо. Полина заметила, как он стареет. – У вас была близость, ну, с этим... ну, как его?

– С Луисом. – Полина доверчиво вспыхнула. – Он мне предложение сделал. Сегодня. Ну, я согласилась.

– Она идиотка у нас. Ненормальная. – И мама вновь быстро закрыла глаза. – Вся в бабку, в мамашу твою.

– Молчать! Я просил замолчать! – Тут папа так гневно затряс свою дочь, что сам весь затрясся. Полина боялась, что папа почувствует запах Луиса, тряс ее, словно какую-то куклу. – Ты шутишь, надеюсь?

– Нет, я не шучу. – Полина слегка от него отодвинулась. – Ведь мне почти двадцать. Ну, что тут такого?

– Да хоть сорок пять!

– Ох, кто на ней женится? Что ты, ей-богу! – И мама открыла глаза. – Получит кенийскую язву с глистами. А может быть, сифилис. Этим все кончится.

Конечно же, мама несла чепуху. Кенийских ведь язв не бывает в природе, бывают тропические. Возникновение глистов-паразитов не связано с ними. И язва – сама по себе, ни при чем здесь глисты.

– Короче, – сказал мрачно папа. – Обходишь и впредь будешь мне обходить за версту любого такого еще черножопого! И чтобы мы с мамой об этом не слышали!

Полина укоризненно посмотрела на папу своими чудесными глазами.

– Я так не могу, – прошептала она. – Мне стыдно за вас...

И голос прервался. Тут папа схватил сам себя за виски и вышел на кухню нетвердо, как пьяный. Полина и мама остались вдвоем.

– Попелька, – сказала мама, хитростью пытаясь вернуть себе дочернее расположение и поэтому называя Полину тем именем, которым ее называли в детстве. – Папа, конечно, грубо сказал, и люди равны... – Она помолчала, поправилась. – Хотя не всегда. И, конечно, не все. Поскольку ведь есть людоеды, пигмеи...

– Но он не пигмей, и он не людоед! – вскричала Полина сквозь слезы. – Он кончил к тому же Сорбонну и Гарвард!

У мамы глаза посветлели, блеснули.

– Откуда ты знаешь?

– Он сам мне сказал.

– Он что, из богатой семьи?

Полина махнула рукой.

– Нет, ты погоди! Погоди мне махать! – И мама сама замахала руками. – Ведь если он так образован и деньги... Он что, из плантаторов родом?

– А как же? Откуда еще? Там огромные деньги! Там прииски, там миллионы, поместья. Свои антилопы, свои обезьяны. Отец вон скупил половину Парижа. А ты что подумала?

– Как половину? – И мама вдруг вся покраснела. – Парижа? В Париже скупил половину чего? Ну, это же все абсолютно меняет! А он очень черный? Твой, этот... ну, как его?

Полина и всхлипнула, и засмеялась:

– Вы дикие люди. Расисты. Мне стыдно, что я ваша дочь.

В полдень она сидела в столовой на том самом месте, на котором сидела вчера, только на это раз не было никакой сметаны, а был только чай в непромытом стакане. Луис, ее возлюбленный жених, ворвался в столовую так, словно кто-то за ним сейчас гнался. Его шоколадная скользкая кожа была темно-серой от гнева.

– Полина! Не слушайся злых!

Полина была уверена, что он имеет в виду ее отсталых родителей, и ужаснулась жениховской пронизательности.

– Она говорит, – вскрикнул Луис гортанно, – что это ребенок меня! Не меня! Ребенок Гамюка. Конечно, Гамюка! А может быть, Дабуламанзи.

– А кто это: Дабуламанзи? – спросила Полина.

– Один из Туниса, – сказал он. – Неважно! Ребенок ее не меня.

Полина привстала со стула:

– О ком ты?

У Луиса грозно сверкнули белки. Ответить, однако, он ей не успел. В столовую входили две девушки: одна – очень высокая, обмотанная оранжевым шарфом, бледная, с темными кругами под глазами и большим ртом; вторая – невысокая и кривоногая, с прекрасно развитой, сильно открытой вырезом черной майки грудью, нежно-оливковыми щеками и длинными густыми волосами, текущими вольно до полных локтей. Обе они учились на филфаке, но подружками застенчивой Полины никогда не были, так как жили в общежитии.

Бледная и высокая, в оранжевом шарфе, быстро подошла к Луису и взяла его под руку. Он выдернул руку и, тихо рыча, поскольку был сильно обижен, сказал ей:

– Береза, уйди.

У бледной девушки по фамилии Береза увлажнились глаза. Звали ее Клавдией, но редко кто обращался к ней по имени, поскольку сказать человеку «Береза» гораздо звучней, чем сказать просто «Клава». Полина почувствовала, что ей становится не по себе и нужно скорее бежать из столовой, где сердитая буфетчица то и дело выхватывает с подноса одного слабого утенка за другим, бросает его на тарелку, а после трет желтые ногти о круглый свой бок.

– Напрасно ты, Поля, – сказала ей спутница Клавы Березы. – Тебе развлечение, забава, а тут ведь семья.

На них начали оглядываться. Крепко прижав сумку к груди, Полина рванулась к выходу, но Луис перехватил ее за локоть. Он страшен был в эту минуту. Лицо его дергали жгучие молнии, тяжелые губы открылись, как раковина, и он мог вполне прокусить Клаве горло, когда бы решился на этот поступок.

– Пусти меня, Луис! Не нужно! Пусти! – взмолилась Полина.

Вокруг начались кривотолки и сплетни. Народ ведь не может молчать. Не привык.

– Совсем девки стыд потеряли! Ну, блин, – сказала буфетчица. – Я так, хоть это... Хоть озолотите, чтоб я вот с таким...

Она прикусила язык, но глазами закончила эту бестактную мысль.

– Так он же богатый, – вздохнула с ней рядом какая-то женщина, не из студентов. – У них, говорят, миллионы там, в Африке... Квартиру снимает на Ленинском. Гнида. Один, говорят, проживает в трех комнатах...

Полина готова была провалиться сквозь землю. Худая и бледная Клава Береза, сорвав свой оранжевый шарф, показала собравшимся еле заметный живот.

– Ну, видишь теперь? – продышала она. – Куда ты полезла? Сперва бы спросила...

Полина не стала терпеть. С трудом отодрав от себя пальцы Луиса, она убежала из душевой утятницы и бросилась к лифту. Ей вслед доносились рыдания обиженной будущей матери.

– О боже! – шептала Полина уже на бегу, не видя, не замечая прохожих, которые нежно ее провожали глазами: красивая девушка! Плачет навзрыд. Золотоволосая, длинные ноги. – И что мне теперь с этим делать, о боже!

Она не могла даже объяснить себе, в чем именно беда: то ли в том, что ей придется расстаться с полюбившимся ей африканским студентом Луисом, то ли в том, что несчастная Клава Береза так цепляется за него, а он ее вовсе не хочет и даже ребенка, который пока что на свет не родился, ничуть не жалеет.

К вечеру у Полины поднялась температура, жестокий озноб заколотил ее женственное тело с широкими бедрами, тоненькой талией и нежною россыпью розовых родинок над левою грудью. Губы у Полины пересохли, а веки горели, как будто на каждом лежали горчичники. В полночь она начала задыхаться и пороть чепуху. Перепугавшаяся мама (папа был у своей женщины и дома не ночевал!) вызвала неотложку, и Полину сгоряча увезли в инфекционную больницу с подозрением на редкое по нынешним временам заболевание: брюшной тиф. В изоляторе, куда ее положили, худенькая нянечка с синеватым подтеком под глазом, взглянув на Полину, сказала ей строго:

– Красивая, а не жилица.

И сразу ушла, словно ей надерзили.

Трудно сказать, что послужило причиной странного сновидения, которое посетило молодую нашу героиню в эту ночь, но очень похоже на то, что слова глупой няньки могли ему очень и очень способствовать. Во сне Полина почувствовала, что она умерла, но не в этой больнице, а на берегу ярко-синего озера. С правой стороны его чернела застывшая волнообразная лава, а слева краснели кораллы. К тому же росло очень много цветов, и бабочки плавали в воздухе. Сама же внезапно наставшая смерть Полину ничуть не пугала, напротив: она оказалась приятным событием. Во-первых, конечно, вся эта природа. Но если бы только природа! Все тело ее словно стало другим: взволнованным, жадным, упругим, счастливым, и кровь принялась, как наливка, бродить, и ноги наполнились резвою силой. Они ее сами куда-то несли: Полина летела, земли не касаясь. Вдалеке, размытые ветром, пронизанные солнцем, появились очертания мужского тела, и сердце Полины забилося так громко, как прежде, при жизни, не билось ни разу. Незнакомый человек с большой головой и крупными кольцами светлых волос, нависшими низко над выпуклым лбом, совсем как Полина летел к ней по воздуху. Полина смутилась и крепко прижала к груди свои руки. Он обнял ее.

– Узнала меня? – прошептал незнакомец. – О нежная дева моя! Голубица!

– Мы разве знакомы? – спросила Полина.

– Прекрасны ланиты твои под подвесками, и шея твоя в ожерельях! – вздохнул он, как будто не слыша.

Полина была в синих маминых бусах. Свисали с нее желтоватые серьги.

– Да это все мамино! – вспыхнула наша совсем небогатая робкая девушка. – Мы с ней побрякушницы обе...

– Золотые подвески мы сделаем тебе, – перебил он, – с серебряными блестками...

Полина совсем растерялась.

– А где мы? – смутилась она. – Мы в раю? Красиво-то как!

– Зима миновала, – ответил он ей. – И дождь миновал, перестал, смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!

Полина доверчиво прижалась к нему своим пышущим телом.

– Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность, – заметил он, страстно целуя Полину. – Стрелы ее – стрелы огненные, она – пламень весьма сильный...

– Да, ревность ужасная, просто ужасная! – шепнула Полина, лицо свое пряча на этой широкой груди. – Ну пусть Клава! Пусть Клава Береза! Но только не ври! А то я ведь в Африку чуть не уехала, а Клава ребеночка ждет от него...

– Шея твоя, – продолжал он, – как столп из слоновой кости, глаза твои – озерки Есевонские, нос твой – башня Ливанская, обращенная к Дамаску...

Полина вся вспыхнула жгучим стыдом.

– У нас вся семья вот такая: носатая, – убито сказала она.

Светлоглазый воскликнул, смеясь ее опасеньям:

– О как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь именитая! Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза...

– «Да что же все люди так смерти боятся? – подумала ошеломленно Полина. – Насколько ведь лучше, чем было при жизни!»

А вслух прошептала:

– Конечно, пойдем. А то еще хватятся, станут искать...

Он сжал ее нежные груди в руках.

– Два сосца твои – как два козленка, двойня серны...

Она с умилением вообразила козлят новорожденных, маму их, серну...

– Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! Потому что голова моя вся покрыта росой...

Полина заплакала и задохнулась.

– Вот, Господи, встретила! Вот он, любимый! Вот суженый мой! Вот жених мой законный!

Она изо всех сил обхватила его покрытую жемчужной росой голову, поцеловала его в лоб, потом еще крепче прижалась к нему и, чувствуя, что уже громко кричит и плачет от счастья и хочет скорее познать его силу и ласку, проснулась.

Над нею был серо-голубоватый потолок с разводами от просочившегося сквозь крышу дождя. И пахло так кисло, как будто бы рядом разулся старик.

– А я, как вчера-то тебя привезли, ну, думаю, все, до утра не протянет! – бормотала нянька и холодными пальцами засовывала термометр Полине под мышку. – Сестричка сказала: «Поставь, у ней жар, а я зашиваюсь одна!» Ну, так что же? Поставим, конечно. Подмышку давай, чего вся упряталась? Мы не кусаемся. А я на тебя посмотрела: лежишь и вся заливаешься: «Ах, ах!» да «Ох, ох!». Ну, думаю, бред у ней, жалко: помрет. Чего веселилась-то? Что тут смешно? Больница у нас, ничего тут смешного...

Полина ужаснулась жестокой правде, открывшейся заново ей и как будто рывком с ее тела содравшей всю кожу. Она заболела, попала в больницу, сейчас придет доктор и даст ей лекарство. А дома волнуются мама и папа, и дождик стучит безнадежно по крышам, и люди в метро так толкают друг друга, что кости болят, когда выйдешь наружу... Ах, господи! Это и есть наша жизнь?

И тут же ее осенило:

– *Здесь*, значит, Мухтарыч, и Клава, и все, а *там* будет он.

Она вспомнила его широкое и радостное лицо, сияющие любовью глаза, почувствовала, как своей крепкой ладонью он властно провел по груди, содрогнулся...

– Теперь я хоть знаю, какой он по виду. Какие глаза у него, губы, руки. А волосы эти и вся голова! Как будто бы белый, махровый цветок...

Слезы полились по щекам, и, стесняясь наблюдательной нянечки, Полина отвернулась к стене.

– А жар-то ведь спал, – разглядывая чуть-чуть потеплевший термометр, пробурчала нянечка. – Привозят нам тут симулянтков без толку, а вот заболит приличная женщина, ее покладут в коридоре, и ладно. А что им! Им план надо выполнить! Вот что!

В дверях, очень бледный, с небритым лицом, уже стоял доктор. Он тяжело вздохнул, откинул одеяло и начал, как тесто, месить ярко-белый, прекрасный Полинин живот.

– Нет, мне неп-п-понятно, – сказал он устало. – Зачем же ее прямо к нам привезли? Теперь ее нужно неделю держать, а мест в изоляторе нет. Н-непонятно... Куда мне ее?

Еще помесил, и помял, и с досадой совсем отошел от кровати.

– Везите ее к Марь Мосевне на третий! – сердито сказал он кому-то. – Пускай забирают, и лечат, и холят. А я не козел отпущения, дудки!

При докторском упоминанье о козах Полина вся вздрогнула: только что были козлята-двойняшки, пугливая серна, и синее озеро тихо плескалось, и птицы летали над ним, словно ангелы...

Справедливости ради нужно заметить, что в гинекологическом отделении, куда доктор, не желая возиться с Полиной, поместил ее на целую неделю, все было, однако, не так уж и страшно. Вернее сказать: страшно было. Но так не бывает, чтобы под ногами разверзлась вдруг бездна, и там, внутри бездны, металось бы пламя, и золото сквозь черноту полыхало, и дым бы клубился, и пахло бы серой, а вы бы стояли в ажурных чулочках, смотрели бы сверху и радостно шурились. Жуткая новизна этого мира, составленного целиком из женщин, сперва оттолкнула Полину, но тотчас же снова втянула в себя, в свою красноватую, влажную мякоть.

В палате, куда ее очень небрежно, толкая больных и другие каталки, привезли рано утром и бросили сразу на койку, лежало одиннадцать ей неизвестных, живых, любопытных существ. И сердце Полины, столь чуткое к счастью, покрылось какою-то смертной тьмой: она испугалась их взглядов.

Время было утреннее, женщины, полусонные и бледные от насильственного пребывания в одной комнате, еще не поевшие и не попившие, с растрепанными волосами, пахнувшие сладковатым и терпким потом, смотрели и пристально, и равнодушно, как смотрят те люди, которым неважно все, что происходит снаружи, вне тел их. Но этот жестокий болезненный взгляд развился в них вот почему: им казалось, что речь идет лишь о страдающем теле. Напрасно! Что тело? Темница души! Всмотритесь же в суть. Что вы видите? Господи! У нескольких только что оборвалось счастливое их ожиданье младенца, и эти сосуды, в которые мощно текла неизвестная жизнь, вдруг лопнули, словно капрон на морозе. Оставшись же наедине с пустотой, беззвучно звенящей, поскольку там, в небе, уже ангелы принимали в свой сонм еще одну светлую кроткую душу, они чуяли в теле какую-то странную тяжесть, хотя им теперь полагалось испытывать легкость.

Другие, напротив, ходили порожними, и их ничего не брало, не ловило, и не было смысла в потрепанной жизни. Тела этих женщин завяли, как травы, любовь их не грела, и страсть не спасала, и то, что должно было заколоситься, и вспыхнуть во тьме, и наполниться соком, по-прежнему было пустым и ненужным, как кухня без ловкой и доброй хозяйки. А были и те, от которых дитяти стремились уйти, не дождавшись рожденья. Они-то и были особенно нервными. Короче: всем женщинам в этой палате, отнюдь не знакомым с уставами неба, не ведавшим, что движет жизнью и смертью, им всем, погруженным в телесные муки, совсем было не до какой-то Полины. Полина была безразлична соседкам, как дождь за окном невеселой больницы.

– А мой вчера дома-то не ночевал, – сказала с ней рядом весьма пожилая, наверное, лет сорока, с животом, похожим на очень большой огурец. – Пошла позвонила ему, не ответил.

– Так, может, он спал? Может, выпил с друзьями? – спросила другая, с обвисшею грудью.

– А что мне с того? Надрался, конечно, потом сразу к этой... Убить бы ее, окаянную стерву...

– Еще одна будет. Ведь всех не убьешь.

Полина, свернувшаяся под одеялом, как птенчик в гнезде, от души поразилась: ведь как это просто и как это верно! Вот с Луисом так же: любил сперва Клаву, потом появилась Полина и тоже... Потом он уедет к себе в эту Кению, и там заведется какая-то женщина. А может быть, к папе метнется, в Париж, кого-нибудь встретит на Полях Елисейских, а то, что Полина,

свернувшись, лежит на этой заржавленной койке в больнице, он знает ведь не знает и ведать не ведает.

Однако Полина опять же ошиблась. В тот ветреный день, в день дождя над Москвою, и Луис не спал, хотя очень хотел бы. Те люди не правы, которые думают, что чем человек от рождения южнее, тем он энергичнее. Ровно напротив: южане как раз безмятежно-ленивы. И Луис, рожденный под звездами Африки, под небом ее, столь спокойным, что даже остатки седых облаков, паутинки, которые (если они не над Африкой!) немедленно рвутся и, лишь попадая сюда (то есть в Африку!), медлят, томятся, любил много спать. И часто ложился и спал очень крепко. Привычка – замечу – всех в мире плантаторов и всех, у которых свои антилопы, свои стада тучных и сытых коров и слуги: по три человека на комнату. Такие всегда много спят. А что им не спать? На работу не надо. Лежат в гамаках и сигарой дымят.

В тот день, когда Клава Береза с подругой, которой и мы отомстим, как умеем, не давши ей даже красивого имени, ворвалась в столовую и сообщила про эту беременность (неподтвержденную!), в тот день африканский студент Лумузин потратил почти девять долгих часов, пытаясь найти свою милую девушку. Нигде ее не было. Кроме того, никто и фамилии толком не знал. Ведь он, Лумузин, проходил обучение в большом, главном корпусе на Ленгорах. Полина же, как все простые студенты, училась в другом, то есть гуманитарном.

Многие запомнили гибкого Лумузина именно таким, каким он был в тот день: решительным, яростным и необычным. Отшвырнув от себя вцепившуюся ему в руку Клавдию, Лумузин почти догнал Полину у самого лифта, но кабинка была переполнена, и ему пришлось остаться в ожидании следующей. Когда же он съехал наконец вниз, на первый этаж, Полины там не оказалось. В глазах потемнело у Луиса. Бежал он с закушенной нижней губой по белой от яблонь аллее к метро, надеясь, что все же догонит Полину, но кто же мог знать, что в то время Полина бежала в другую, ненужную сторону, поскольку, рыдая, не соображала, как ей поскорее добраться до дому. Потратив на поиски долгое время, свирепый, как Зевс, Луис вспомнил про Клаву и с пеной, собравшейся прямо у губ, – густой, словно серая пена прибоя, – вернулся к себе в главный корпус.

Отчаяние говорило ему, где можно найти сейчас подлую Клаву, с которой он не собирался рожать, воспитывать и обучать ее деток, совсем не желал вести лгунью к венцу, а после катать на машине в Париже. На кухне, куда он пришел, ее не было. Но Луис, охотник кенийского леса, учуял Березу сквозь плотную дверь, как племя бакига и ночью и днем всегда чувствует зверя в нехоженой чаще.

Беременная почивала на койке, уверившись в бегстве ничтожной Полины, раздавленной ею сегодня в столовой. Увидев вошедшего, Клавдия вскрикнула.

– О мерзко! – сказал ей суровый студент Лумузин.

– Что мерзко, Луизик? – спросила она.

– Ребенок в тебе не меня! Ты – Гадкая Злая!

– А чей же ребенок?

– Ребенок Гамюка и Дабуламанзи!

«Тогда, значит, их у меня сразу два!» – сверкнуло в мозгу Гадкой Злой.

Но вслух она громко сказала:

– Тебя, Лумузинчик. Я верная женщина.

От негодования он пошатнулся и русский язык засорил африканским.

– Ку! – вскрикнул он дико. – Ку! Чу! Рас! Ку! Чу! Пум-пум!

– Луизик? – закрывши на всякий случай живот одеялом, спросила несчастная Клава Береза. – Какое «пум-пум»? Что такое: «пум-пум»?

– «Пум-пум», – прохрипел ей свирепый Луизик, – есть срочное место! Вот это: «пум-пум»!

– Какие слова-то... – промолвила Клавдия. – Откуда слова-то такие берутся?

– Молчи! Карасата ма бу!

Признавшись на камба (язык его племени!), что больше не может, он начал душить ее черной рукою. Но Клава была хоть уже на сносях, однако не хилая, рыхлая девушка. Она изловчилась, боднула коленом, удачно попала куда-то, и он завыл, зарычал, закипел и затрясся – кровавые искры посыпались густо, – а Клава кричала благим матом так, что сразу сбежались: вьетнамская комната, монгольская комната и три бурятки. Под этими дальневосточными взглядами Клава, хрипя и рыдая, подставила шею под крепкую ледяную струю. Вся шея ее была сплошь в синяках.

– Ай! Ай! – закричали бурятки. – Ай, что!

– Любимый душил, а вот недодушил, – ответила Клава, дрожа мокрым ртом. – Видали, какие дела?

Дисциплинированная вьетнамская комната переглянулась с дисциплинированной монгольской, и старосты обеих комнат (один в синих тапках, другой в сапогах, расшитых узорами, очень богатых!) куда-то исчезли.

Студент Лумузин, рыча, и скуля, и стеная от гнева, поскольку он недодушил до конца, и вырвалась Гадкая Злая, и дышит, вошел смело в кухню к различным народам.

– Ай! Ай! – закричали бурятки. – Не друг!

И быстро закрылись большими руками. Кенийский студент хотел было уйти, но путь ему вдруг перекрыли два старосты (один в синих тапках, другой в сапогах!), а также сержант нашей славной милиции.

– Пройдемте, – сказал очень мелкий сержант, особенно тусклый на фоне кенийца. – Пройдемте сейчас в отделение.

– Чу! – сказал ему Луис. – Чу сама шата!

– Мы по-негритянски не можем. Вот так, – нахмурился мелкий сержант. – Не обучены. Пройдемте составим на вас протокол, задержим вас, ну, и начнем разбираться.

– Я, – на чистом русском сказал Лумузин, – убью эту вашу пум-пум все равно.

– Убьете... – нахмурился мелкий сержант. – Вот так и запишем: угроза убийства.

– Вот видишь, Луизик, – сказала Береза, белея своими большими губами. – Ведь я говорила: давай мы поженимся. А ты все: пум-пум да пум-пум. Что: пум-пум? Теперь вот тебя упумпумят, родной. Костей не собрать. Вот увидишь.

А мелкий сержант откуда-то вынул стальные наручники. Бурятки закрылись, вьетнамцы притихли. Один лишь монгол, самый старший по возрасту, смотрел с удовольствием на наказание. Хотя бормотал про себя: «Гай дайрах» («случилась беда» – *монг.*), лицо его плоское не выражало ни тени сомненья, что все идет правильно. И даже когда увели Лумузину и стало вдруг грустно всем людям на кухне, монгол, хоть и староста, живо подпрыгнул, ударил сапог о сапог и запел.

Именно в эту минуту Полина проснулась в своем изоляторе, очарованная только что случившимся с нею сновидением. И в эту минуту закончился дождь, и нежно запахло лиловой сиренью. В восемь часов утра, когда Полину уже перевезли на третий этаж в гинекологию, а африканского студента Лумузину держали в камере предварительного заключения на жестком и грязном казенном топчане, перед входом в милицию остановился белый «Кадиллак». У сотрудников отделения зрачки в водянистых глазах их забегали.

– Ну, влипли, ребята. А я говорил! Зачем черножопого взяли без спросу?

Дверь «Кадиллака» отворилась, и вылез оттуда огромный мужик (поскольку с усами был и с бородой!), а так, по одежде, – нарядная баба. На усатом, огромного роста, с большим женским задом мужике была надета длинная, очень пестрая, вся сплошь расшитая золотом и нанизанными поверх золота драгоценными камнями рубаха, поверх этой яркой рубахи – другая, и тоже вся в золоте и серебре, поверх серебра – что-то очень пушистое, на чем были разные бусы

и перья. Подобные этим, и бусы, и перья, а также ракушки со дна океана, а кроме того, зубы разных животных (а может, людей, кто их там разберет!) украсили сложный убор человека, вздымающийся на его голове. Рядом с бородатым, самым главным по своему виду и повадкам дипломатом, суетились трое других – помельче, одетых попроще, но тоже и в бусах, и в перьях. Все те, кому так повезло в этот час, в простых ихних куртках, в простых сапогах, спешить на заводы, а также на фабрики, и те, кто, посматривая на часы, бочком шли с портфелями, в синих болоньях, чтобы, ни минуты не медля без дела, заполнить собою все эти места, где прячется интеллигенция ловко, – все эти прохожие до самой смерти так и не забыли чудесного зрелища. И детям своим рассказали, и внукам. Поскольку такое ведь не забывается. Как запуск кого-нибудь в космос – подальше, как танец на льду Белоусовой вместе с партнером и мужем ее Протопоповым.

Красиво одетый иностранный дипломат важно вошел в обшарпанное милицейское помещение, где дым от плохих сигарет затруднял и рост, и здоровье домашних растений. Герань была чахлая, в мелких бутонах.

– Касара мату! – громко, с явной угрозой сказал дипломат. – Масалака ибу!

Сотрудники переглянулись.

– Товарищ, вы тут не ругайтесь. Вы не у себя, – ответил полковник Евгений Гаврилыч. – Мы тут разбираемся.

Один из приближенных кенийского дипломата негромко, прямо в богато украшенное и разрисованное ухо своего начальника, перевел слова скромного Евгения Гаврилыча.

– Мабута кату! – разозлился начальник и поднял тяжелую руку, всю в кольцах. – Кату масара!

– Ну, чтоб «мусорами» нас тут обзывать... ну, это уж слишком! – сквозь зубы обиделся умный полковник.

– Свободная и независимая Республика Кения предлагает вам немедленно отпускать в свободу задержавшего у вас гражданина нашей республики господина Лумузину Абрака, – сказал переводчик. – И приносить республике Кения свои извинения в письменных видах.

Евгений Гаврилович весь покраснел.

– По нашим, ну, сведениям, господин Лумузин Абраков собирался задушить свою невесту, товарища Березу Клавдию Петровну, находящуюся, так сказать, в интересном положении...

– Калита мабука сата чу мата! – кивнул дипломат.

– Мы знаем об этом вопросе, – сказал переводчик.

– Марата кули? – спросил дипломат.

– Чего вы хотите? – сказал переводчик.

– Чего мы хотим? Как чего? – И Гаврилыч щелчком сбил с герани скопившийся пепел. – Пускай, значит, женится. Чтоб все законно. Ребеночек чтобы с отцом рос, как положено, значит.

– Ату масата, – погрузнел дипломат. – Ату масата ра ибу масата.

– Мы просим свидания. Прямо на месте. – Лицо переводчика переменялось: угроза блеснула на нем.

– Свидания? Ладно. Веди его, Вася, – решил полковник.

Вася, сержант младший Теркин Василь Александрыч, в наручниках вывел в приемную Луиса, студента из Кении, столь похудевшего, что, если бы он вдруг себя захотел, как и предлагали ему, в руки взять, то брать в эти руки почти было нечего. Зрочки у студента блуждали и прыгали.

Дипломат и представитель свободной Республики Кения поклонился выведенному из застенка Лумузину красивым и плавным движением перьев на черноволосой своей голове.

– Ата мабата а сату! – вскричал Лумузин. – Ата ху! Раса та ма кхо чу саха!

– Господи Абрака отказывается приносить свои извинения, – сказал переводчик услужливо, – поскольку не видит за своими поступками состава преступления.

– Ты просто скажи: ты согласен жениться? – спросил его грустно полковник Гаврилыч.

Дипломат что-то тихо объяснял Луису. Тот мрачно кивал. И вдруг вновь разъярился:

– Пум-пум махата! Пум-пум чу ибу! Ибу чу пум-пум!

Переводчик попросил Евгения Гаврилыча подождать, пока недоразумение уляжется, и тоже включился в беседу.

– Ма пу! Ма пу казата! – закричал дипломат и, поднеся к раскрытому рту огромную мясистую ладонь, куснул ее. – Ибу каса та?

По всей атмосфере сержанты с полковником решили, что дело дойдет до войны. Однако студент Лумузин вдруг погас. Широкие плечи его опустились.

– Во избежание мирового конфликта, – с облегчением заговорил переводчик, – господин Лумузин Абрака согласен заключить супружеский контракт с гражданкой Березой. Но жить с нею он не согласен.

– Да нам-то что? Пусть он с кем хочет живет, – вздохнул полной грудью Евгений Гаврилыч. – Но только уж пусть уберется подальше. Кого он там, это, «ибу матапа» – нам, в общем, плевать. Его личное дело.

– Нам, главное, чтобы войны не случилось, – вмешался Василь Александрович Теркин. – Вот вы небось думаете, что, если русский, так он очень хочет войны. Вы у мамки спросите моей, у жены, если скажет, хотим мы войны или нет не хотим?

Он чуть было на пол не сплюнул в сердцах, но в самый последний момент удержался и вежливо сплюнул в цветочный горшок.

Через неделю после этих событий бледная и измученная Полина пришла в стеклянный корпус Московского государственного университета, где ей надлежало подписать кучу бумаг для оформления академического отпуска. По лестнице, ведущей с низкого первого этажа в вестибюль, спускалась изменившаяся в лучшую сторону, расцветшая, словно цветок луговой, студентка Береза, по внешнему виду которой никак нельзя было сказать, что Клава кого-нибудь ждет, а ребенка – тем более.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.